

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Ревельский турнир[1]

I

«Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде».

Звон колоколов с Олая[2] великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле все шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем, за кружкой пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем широкой. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, то есть с сединою, Буртнек был человек лет пятидесяти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество.

Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам, со всех панелей развеялись фестонами кружева Арахны[3]. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу, на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешенная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коропованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блещут наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

– Нагулялся ли ты, любезный доктор? – спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лопциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости москвитцев, отчасти задержанный городской думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лопциуса слушал правду не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.

– Нагулялся ли ты? – повторил барон, отирая с усов своих пену.

– Не пользою нагулялся, барон, – отвечал весельчак доктор, выгружая из карманов своих,

будто из теплиц, разнородные растения. – Вот целые пучки лекарственных корней, собранных мною, и где бы вы думали?... на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия, и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

– Ну, каковы же тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

– Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены, а грозны они только издали; половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофеля, нежели картечей.

– Да, да... это сказать – так стыд, а утаить – так грех! Хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни.

– Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее как вчера я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля. [4]

– И заливал, конечно, не водой, доктор?

– Без сомнения, мальвазией, господин барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? А ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.[5]

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.

– Тебе завтра будет вдоволь работы, – продолжал он, сводя разговор на турнир.

– Работы, барон? Разве я кузнец? – отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива. – Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы[6], нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

– Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любят ли они им? Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

– Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставить вас по-домашнему – в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешевы из нее перчатки!..

Оно и не мудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

– Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку, я бы нагнал удальцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

– У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

– У прочих... у других!.. Другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встречи со мною под Магольмом[7], под Псковом... под Нарвою!

– Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели бы тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

– Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! Некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

– Только обещал? Это не много. Оп два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его, хотя я вовсе не прошу господина гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, являсь сюда с первыми жаворонками, воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

– Может ли это случиться! Мое дело так ясно, как мой палаш, так право, как эта правая рука.

– Зато барон Унгерн хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

– А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеда, от гостей да в гости, – а, смотришь, деньги улетают как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь, мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

– Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось; у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет, тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан[8] от болезней карманного рода есть умеренность.

За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопую об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

– Понимаю, – сказал с улыбкою рыцарь, – понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду? Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

– Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

– Немного моложе потопа, господин доктор; по ты увидишь, что оно совсем не водяпо.

Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов[9], а просто слуга-эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами, вбежал и смиренно остановился у притолки с раболепно-вопросительным лицом.

– Друмме! – сказал ему Бернгард, – скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок, – продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту), – и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме, – слышишь ли, глупец?

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

– Чего ты боишься, истукан! – грозно закричал рыцарь. – Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, нечесаное животное, куда?.. Чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ! – продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения. – Скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе – из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулю[10] за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

– Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров[11] ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

– Не мое ремесло рассуждать, глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится [12]. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных, – безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор?..

– Гораздо лучше ваших обычаев. Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

– О, конечно не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

– И, по всей вероятности, напрасно.

– Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать, у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель:[13] это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

– И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: *utile dulci*. [14]

– Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово *vale*. [15]

Так говоря, они вышли из залы.

II

На радуге воображенья

Воздушный замок строит он;

Его любви лелет сон...

Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, но о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном, – и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь – люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум – такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю – что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц, скользили взоры... но какие взоры! От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотой и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в восемнадцать лет – порох, одна смелая искра – и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтраму. В углу за занавесом, вокруг длинного стола, сидели ц что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер[16] его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам, золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

– Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? – сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. – И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное любезный и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любование красотой Минны.

– Пробудитесь, Эдвин, – сказала она вполнотрунотым, вполнотрунотым ласковым голосом.

– Так, я грезил, фрейлейн Минна; простите меня или, лучше, самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

– Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

– Еще раз виноват, фрейлейн Минна, – я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо?

Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял перед прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником перед светскими красавицами? кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце, остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что пи говори, я не верю многословной любви в романах.

– Лесть – поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет, – сказала Минна.

– Лесть, но не искренность, Минна! Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

– Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

– Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

– Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блесит Ревель!

– И недаром блесит, фрейлейн Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взглядом.

– Кто же эта первая? – спросила Минна нетвердым голосом. – И для всех или только для вас она кажется такою? Не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

– Я думаю наоборот, фрейлейн Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

– Вы рассказываете про свои чувства, а мне бы хотелось знать ее имя, – сказала Минна холоднее. – Могут ли услышать его, не трогая вашей скромности?

– Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если бы не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.

Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взглядов. Краснея, она опустила свои и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязан, пылок, умен, Минна – чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко забавлять. Она любила – он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и образованности, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, Эдвин

говорил ей о ней самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей, он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги, он любовался ее очами. Следствие угадать нетрудно, ибо состояния выдуманы не для любовников и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу, и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (то есть местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал перед тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и – глазами. Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох разведал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную, не сводил их с ее окна и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастье, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! Пожалейте того, кто любил подобным образом.

– И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой, – наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинува смешалось в одно мгновение с умилительным, голос замер, сердце как будто пронзилось, но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд.

Минна пришла в себя.

– Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

– Навеки, навсегда, фрейлейн Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли – розового; я бы избрал, – продолжал он пламенно, схватив ее руку, – прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

– Ах! зачем вы не рыцарь! – прошептала она. Воздушный замок Эвина разлетелся.

– Ах! зачем я не рыцарь! – вскричал он вне себя. – Зачем я злосчастен своим благополучием!

И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

– Минна, Минна! – закричал отец из другой комнаты.

– Минна! – повторила впросонках ее тетушка.

III

В любви, добыче и утрате

Мои права – в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов, кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титул царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда – худо ли, хорошо ли – передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно – это аксиома: вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз.[17] Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания, пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения козьею ногой[18] у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.

Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез[19], чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.

За нею последовал Эдвин.

– Благодарю господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею... – сказал барон, потирая от удовольствия руки. – Благодарю; я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов[20] в вышитом гербами далматике[21] преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из тремов коронку, и смущенная нечаянностью Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

– Я не поздравляю вас, – тихо сказал Эдвин, положив руку на сердце, – вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала.

Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.

– Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей, – сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь... – Соколом моим, фрейлейн Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф, – у меня уж и чепрак лиловый заказан.

– Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугой.

– И быть полосатым шутом, – тихо примолвил доктор.

– Знатная мысль! – воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши. – Вот, что называется, соглашаться, не сказав «да». Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

– Милости прошу присесть, господа, – говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту. – Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества – моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, а ты, милый Эдвин,

постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.

Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.

– Добро пожаловать, старая кукушка, – сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера, – добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

– И, батюшка, ваша высокобаронская милость! Что вздумали, – отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога. – Я ведь как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вещую на прибыль, как и на убыль.

– Что же нового, Фрейлих?

– Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? – продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку. – У меня даже для завтрашнего праздника и повой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

– Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

– Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

– Не лучше ли выпить за мое здоровье? – сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги. – Конечно, повестки от гермейстера?

– Приказы, благородный рыцарь.

– Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

– Где нам это знать, г. барон, – стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру[22], я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

– Правда, правда, – ворчал про себя Буртнек, – ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.

(Читает.)

– «Ба... ба... барону... Бур... Бур...» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца; это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами![23]

– О! конечно, – сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

– Без сомнения, – прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

– Это еще учтивее, – примолвил с усмешкою доктор, – письмо написано ломаным языком.

– У тебя оп очень гибок на споры, – возразил Буртнек, – посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... У меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

– Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них, – сказал доктор, пробегая бумагу глазами.

– От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггеня пре... при...

– Возьми очки, – сказал барон.

– Возьмите терпенье... – возразил доктор. – Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

– Далее, далее?

– Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней, благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...»

– Ты рехнулся, доктор...

– Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: для урожденной такой-то...

– Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

– Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он и весь в четырех словах: «исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

– Пусть он сам его перемасливает своим пергамином[24], а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

– Не ездите, так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде, они не журавли: не перелетят чрез болото.

– Это уж их дело, а не мое.

– Но ведь большая дорога – вещь мирская; а как она идет через ваше владение...

– Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

– Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

– Другую, другую, доктор...

– Разве третью, – сказал Лонциус, паливая стопу.

– Я говорю про бумагу, – с досадой произнес Буртнек.

– А я думал, про стопу, – отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи.

(Читает.)

– «Гермейстер...» и тому подобное... «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою и насилием и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена[25], рассмотрев сие дело, нашли...» Ошибка против грамматики! – вскричал доктор, останавливаясь.

– Скажи лучше, против правды, – возразил Буртнек. – Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

– «...рассмотрев, нашел, по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озера Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к повой Пойгиной бане, а оттуда...»

– Оттуда пусть он убирается к черту! – вскричал барон, вскакнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак[26], и бранные шутихи полетели во все стороны... – Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон так кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копьё вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет, – а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожие писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья, – и какой воды!

– Без воды обойтись можно, – возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение. – «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

– Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... Я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отвезти спорной воды в озеро!..

– «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

– Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их спины памятной книжкой для безголовых судей?..

– А что скажет на это гермейстер?

– То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью, его флюгерною дружбой? Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя, даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой часток с железными маковками и пе одна пара сильных рук указать ему дорогу восвосяи.

Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, и громче и громче раздавался голос его, до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.

Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.

Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил

взорами его движения.

– Да, да, – продолжал Буртнек, – я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

– Честию клянусь, – вскричал Эдвин от души. – Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото – ваше.

– Располагайте, – сказал, пошатываясь, Донпербац, – мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

– Благодарю... сердечно благодарю... – отвечал умиленный барон, подавая им руки. – Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. Завтра турнир, и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгерию как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... Но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... Вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг, кто бы ни выбил Унгерна из седла, – я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

– Руку и слово, барон, – вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку, – и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!

С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

– Батюшка, милый батюшка! – воскликнула испуганная Минна.

– Минна... Я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля – твоим желаньем: что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

– Куда, куда, любезный Эдвин? – кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было. – Чудак!.. а славный малый, – примолвил он, – скажи слово, и Эдвин отдает все без росту и закладу.

– Молодец, – повторил Доннербац, – даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

– Преумница, – прибавил доктор, – хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» – думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.

IV

...I write in haste, and if a stain

Be on this sheet 'its not what it appears,

My eyeballs burn and throb, but have no tears.[27] Byron

Как бешеный вбежал Эдвин домой.

Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелись вдребезги, и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

– Кончено... Решено... – говорил он, скрежеща зубами. – Турнир и Минна – люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду, – вскричал он слуге своему.

– Куда? – спросил тот с изумлением.

– Кто смеет спрашивать куда? Я еду, и этого довольно; ветер хорош; кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!

Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:

«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно, – тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец я, безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал... Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву... Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня, и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге, склублились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость, еще один взор, как сегодня... и я причарован, – и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливец, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться, не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Миина! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.

Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Удвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в

горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампы, и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!»[28]

Летит как вихорь, как огонь Пред недвижимым строем; И пышет златогривый конь Под будущим героем.

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали серебристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостью, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг и Брейтштрассе – две дороги, ведущие к Домплацу в Вышгороде, – заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вокруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Под балдахин сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтаны с разрезами, унизанными застёжками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся округность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное

общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

– Мне жаль бедную Минну, – сказал доктор, которому все казалось в забавном виде. – Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы. Какое противоречие – гермейстер и Минна!

– Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука – самые близкие соседи, – отвечал Эдвин. – Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских, – следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статушку, – жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр[29] Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью – к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу, – дворянка Зеgefельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... Тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой, – это ландрат[30] Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилендорф; знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою, – баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

– Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

– Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт; он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля.

– Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние. Но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

– Это мученик и образец щегольства... Фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга:[31] шейная цепочка его весит ровно в тридцать фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованы его пальцы! Он имеет вес между рыцарями.

– Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?

– И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер[32] Рабешнтраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность[33] можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...

Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлапки и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бречание сбруи и плески и разнообразие кругом – все изумляло странностию, было дико, но пленительно.

И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба, и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, – народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с копом своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на йоги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.

– народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с копом своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на йоги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.

Бросив поводя и опершись на копье, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, – никто не являлся.

Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»

– Отворите! – закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, – и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.

Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле, только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводями, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкою. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвешиваемой его ногами.

– Какой статный мужчина! – сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

– Какой жеребец! – воскликнул ее брат, – во всех статях, – даже и хвост трубою. Это картина – не конь. Крестец – хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... только что не говорит.

– Эту привилегию имеют только ослы, – с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

– Это я вижу теперь, – смеючись отвечал фон Клокен. – Но кто этот неизвестный удалец?

– Это Доннербац! – отвечали многие голоса.

– Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко-низко поклонился Минне – и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что мундштук звукнул о мундштук...

– Что это значит? – с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

– Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, – насмешливо отвечал неизвестный, – то брошенная перчатка значит вызов на бой.

– Рыцарь, я уже давно эту указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремя!

– Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

– Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

– Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

– Ах ты, безымянный хвостун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

– Наглец и пустослов! Поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

– Я выгоню тебя вон из света, безумец! – вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника. – И также воткну на копье твою голову.

– Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

– Это твой приговор... Поклонись в последний раз петуху на олаевской колокольне, – вы уж больше не свидитесь...

– А ты приготовь поздравительную речь сатане...

– Посмотрим, какого цвета кровь,двигающая этот дерзкий язык!

– Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца, – говорили рыцари, разъезжаясь.

И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копья, и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится...

Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга – раз, два, и копьев как не было, но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завяли платками в одобрение Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины: они всегда на стороне победителя.

– Славно, славно, земляк! – кричали ему ревельцы. – Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью.

– Едва ли это неправда, – примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив ни мертв ждал развязки боя.

– Теперь он знает, каково рвать незабудки с копья Унгернова, – прибавил другой.

– Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь, – сказал третий.

– Распечатай его наличник! – кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты, – так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями, устремились рыцари навстречу: один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились, и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

– Ну, Унгерн, кто победитель?

– Судьба, – отвечал тот едва внятно.

– И смерть, если ты не сознаешься; кто победил тебя?

– Ты, ты! – отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

– Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней, или через минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

– Я на все согласен!

– Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных, то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.

– Слава великодушному, награда и честь победителю! – раздалось в громе рукоплесканий. – Ему, ему награду! – восклицали все.

– Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок! – решили судьи турнира, и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты; поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

– Благородный рыцарь, – сказал гермейстер Бруггеней, стоя, – ты, оказал свою силу, свое искусство и великодушие; покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

– Уважаемый гермейстер! важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

– Таковы уставы турнира.

– В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которую не могу воспользоваться.

Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

– Храбрый паладин! – сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским. – Неужели откажетесь вы ответствовать на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

– Нет, нет! – говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем, – он колебался. – Минна! – воскликнул он наконец, хватая кубок, – да будет!.. Я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здоровье и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

Не встанешь ты из векового праха,

Ты не блеснешь под знаменем креста.

Тяжелый меч наследников Рорбаха,

Ливонии прекрасной красота.[34] [35] Н. Языков

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет пятнадцать спустя после введения лютеранской веры.

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду[36], и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттепберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать[37] да праздничать, и лишь редкие стычки с новгородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами, от чистой души, уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унижить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии, лстимые легкостию стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество Черноголовых[38] (Schwarzen-Haupter), как

градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, – но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие. На чем бишь мы остановились?

VII

Что будет, то будет, что будет, то будет, а будет то, что бог даст. Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

– Эдвин! – воскликнула Минна.

– Купец! – закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.

– Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает мести! – раздавалось отовсюду, и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.

– Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца! – кричали рыцари.

– Он не наш.

– Он будет наш! – возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина. – Мы не дадим тронуть его волоском...

– Кто не даст? Кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? – шумели дворяне.

– Не из милости, а по праву.

– Кто дал права, тот может и взять их.

– Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

– Старые песни, старые сказки!.. Храбрость ваша качается на весовой стрелке, а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

– Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

– Аршинники, разбойники! – летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил:

– Дворяне и рыцари! вот следствие пашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата и преимуществ Ордена, не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переды. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

– Да будет, да будет, – загремели дворяне и рыцари, и герольды под звуком труб возгласили,

что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

– Так мы сломим их в битве! – зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

– А! коли так, бейте черноголовых! – закричали рыцари.

– Рубите пустоголовых! – восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам и бой завязался.

Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех, ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира, – никто не слушал, никто не замечал его. Наконец усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнейшему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили яшзнию за эту игрушку.

Эдвин все еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая на Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

– Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

– Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержат слова, чтобы поддержать имя. Коротко сказать, Эдвин очень высоко задумал; я вовек не выдам Минны за человека без славного имени.

– Зато с добрую славою.

– За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

– У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

– Хоть весь он рассыпся червонцами, – я не соглашусь раздвоить[39] свой щит с вывескою.

– Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном, неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?

– Добродетель – не титул...

– Мы производим его в командоры шварценгейптеров! – гордо возразили старшины сего сословия. – Он заслужил это достоинство храбростию.

– Слышите ли?... – сказал доктор. – Это почти рыцарское достоинство!

– Батюшка, – вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, – он оживает, мой Эдвин оживает. Простите, – продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами, – я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.

Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца.

Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы, хотел поцелуем призвать в нее жизнь, и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице.

Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее:

– Он богат, прекрасен, командор и храбр; это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишитъ счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

– Дай мне подумать хоть день, хоть час...

– Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

– Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку.

Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

– Куда едешь, любезный Доннербац? – спросил Буртнек.

– На турнир, – отвечал тот, протирая глаза.

– Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу, – с усмешкою сказал Эдвин.

– На твою свадьбу, – неужели с фрейлейн Минною?... Не сон ли это?

– Дай бог не просыпаться от такого счастливого сна!

Шумно промчался поезд мимо, – и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.

Примечания

1

Ревельский турнир. Впервые – в альманахе «Полярная звезда», 1825 год, за подписью: А. Бестужев.

2

Звон колоколов с Олая... – Церковь св. Олая является памятником древнегерманского зодчества в Прибалтике. Впервые упоминается в 1267 г.

3

...кружева Арахны – то есть паутина. В «Метаморфозах» Овидия упоминается героиня Арахнея, искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать Афину на состязание в ткачестве и превращенная ею за это в паука.

4

Брандсугель (нем.) – зажигательное ядро.

5

Греческий огонь – зажигательные снаряды.

6

Кираса (фр.) – металлические латы, надевавшиеся на спину и грудь для защиты от ударов холодным оружием.

7

...под Магольмом, под Псковом... под Нарвою! – Имеются в виду сражения с русскими войсками в 1501—1502 гг.

8

Орвиетан – особый эликсир от всех болезней, названный по имени лекаря Фероата из Орвието; впоследствии – название всякого шарлатанского лекарства.

9

Паладин (фр.) – в средние века – рыцарь из свиты короля.

10

Рыцарь Иксуль – владелец поместья Резенберга; за жестокость со своими вассалами и убийство одного из них был казнен жителями Ревеля в 1535 г.

11

Ратсгер (нем.) – член совета магистрата.

12

Прошу читателя вспомнить о феодальных правах. – Примеч. автора.

13

Род бильярда. – Примеч. автора.

14

Полезное с приятным – лат.

15

Прощай – лат.

16

Шпензер (нем.) – род одежды.

17

Риттергауз (нем.) – рыцарский дом в Ревеле (Таллине) на Вышхоре; перед ним в старину происходили рыцарские турниры.

18

Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей – в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall – падение серны, – примеч. автора.

19

Фрез (фр.) – высокий плотный воротник.

20

Герольд (нем.) – вестник, глашатай; распорядитель на рыцарских турнирах.

21

Далматика – род мантии или пакидки.

22

Киршвассер (нем.) – вишневая водка.

23

Fraktur-Buchstaben. – Примеч. автора.

24

Пергамин (пергамент) – кожа животных, особым образом обработанная и служащая для написания документов и писем.

25

...с фогтами и командорами Ордена... – Командоры и фогты – высшие чины Ливонского ордена, назначавшиеся магистром Ордена, ведали надзором и управлением округа.

26

Фейерверочный бурак – гильза с порохом, выбрасывающая огненный фонтан.

27

Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. Байрон (англ.).

28

Любовь – дамам, почет – храбрецам! (фр.)

29

Бургомистр – здесь: старший член магистрата.

30

Ландрат – член королевского или земского совета.

31

Гер. Плеттенберг в 1503 году издал, для удержания роскоши, указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий; по это осталось без действия. – Примеч. автора.

32

Вицбетрейбер (нем.) – шут, острослов.

33

Seine Durchlaucht. Его светлость, его прозрачность – немецкий титул. – Примеч. автора.

34

Эпиграф взят из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

35

Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Schwert-Briider). – Примеч. автора.

36

...в прусском Ордене, преданном Сигизмунду... – Сигизмунд I Старый (1467—1548), польский король, в 1525 г. согласился преобразовать духовно – рыцарский Тевтонский орден в герцогство Пруссия.

37

Полевать – ездить в поле для военных действий.

38

Общество Черноголовых – военно-торговое братство, основанное в XIV в. в Ревеле для обороны города; имело большое влияние на политическую жизнь Ревеля и всего Балтийского побережья.

39

Ecarteler – геральдическое выражение. – Примеч. автора.